

Глеб Иванович Успенский

# «Пинжак» и чорт



**Глеб Иванович Успенский**  
**«Пинжак» и чорт**  
Серия «Через пень-колоду», книга 3

*Текст предоставлен правообладателем.*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=665625](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665625)*

**Аннотация**

«...Много за эти сорок лет видел мужик всякой всячины: и боялся-то, и переставал бояться, и принимался плясать «на радостях», и антихриста начинал ожидать со страху; слышал и то, и другое, и верил всему; а потом ничему не верил, или оказывалось совсем не так, как думалось, как верилось и должно бы быть. Но какая-то едва приметная струя правды, чего-то такого, про что нельзя не сказать: «верно!», была в том сумбуре, показывалась кое-где, через пятое в десятое...»

# Содержание

1	4
2	13
3	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Глеб Иванович Успенский

## «Пинжак» и чорт

### 1

– Кабы ежели бы *в ту-то пору послухатъ* бы евонных (или ейных) слов, так оно бы, дало-то, пожалуй что и по-хорошему бы... Да что, дубье, больше ничего! И вся-то цена нашему брату – медный алтын! Как были всю жизнь дураками, так, видно, и в могилу ляжем!

Таковыми нелестными эпитетами приходится наделять самого себя почти всякому современному крестьянину, достигшему примерно сорока или сорокапятилетнего возраста и почему-нибудь задумавшемуся над текущей минутой своей жизни. Надо сказать правду: нехороша, нескладна и вообще как-то тяжело несветла эта «последняя минута» его сорокалетнего жития на белом свете; лет пятнадцать, даже около двадцати прожил он в тяготе крепостного бесправия, в фантастических, почти сказочных грезах о том времени, «когда будет воля», представлявшаяся также в сказочных, по-детски представляемых размерах и очертаниях, и затем, дождавшись, наконец, дня, в который воля была объявлена, все последующие двадцать – двадцать пять лет пережил среди небывалых, новых, непостижимых и всегда почти непонят-

ных явлений и веяний, в результате которых – трудный сегодняшний день. Что-то неладное, вкравшееся в его «вольную жизнь» в самом начале, какие-то, вовсе не соответствовавшие его детским, крепостным мечтаниям «ошибочки» против его крестьянской правды, ошибочки, сделанные «в земле», то есть в самом корне его мирозерцания, сделали то, что ему не удалось сразу стать на ноги, сразу расстаться со сказкой и мечтанием. «Ошибочка», напротив, заставила его смотреть на все то новое, что шло ему навстречу, сквозь нерассеявшуюся дымку этой сказки, и это постоянно сбивало его с толку, качало и направо, и налево и вообще туманило голову. Чуть не с первого же вольного дня он стал объяснять «ошибочку» теми причинами, которые напевала ему сказка. «Отойдет!» – верил он и в иных местах отрецивался от земли, а в других хоть и брал то, что пришлось, но никак не мог поверить, чтобы скотина должна была пастись в болоте, а не на лугу, или чтобы вместо пашни можно было хозяйствовать на песке или камне. Долго, бесконечно долго жил он мечтами о «слушном часе», о «генеральной меже» и радовался «всем нутром», что кулачишка Пимка расхищает барина: рубит у него без пощады лес, покупает и разламывает его родовые поместья; Пимка – «свой брат»; он тоже говорит: «отойдет», и благодаря его совету они только посмеиваются в бороду, слушая предложения «барина» купить у него землю, имение, не слушать Пимку... Но шли времена, и приходилось не верить Пимке; Пимка оказывался куда не

тем, чем бы ему надлежало быть, ибо сам начинал поговаривать, что «ничего от него-то, от Пимки, уж не отойдет». А скотина тем временем продолжала пастись в болоте, и пашня была не пашня, а неведомо что, то есть «ошибочка» оставалась ошибочкой попрежнему... Кому же тут верить? Хорошему барину? Но не видно, чтобы он что-нибудь делал хорошее в самом деле. Мысль об антихристе, о страшном суде мелькала не раз в недоумевающей крестьянской голове, но так как и антихрист также медлил своим появлением и не давал, таким образом, возможности выяснить положение дела, то волей-неволей приходилось опять думать, что «ошибочка» должна быть исправлена, а в ожидании этого – жить кое-как, как придется, закладываясь Пимкам, решая водкой дела, которые «по-настоящему-то» могут быть решены только тогда, когда уж не будет «ошибочки». И так, путаясь в мечтаниях, веря и разуверяясь, сорока-сорокапятiletний деревенский житель в настоящую минуту видит, что «ошибочка», как разбитое корыто, стоит на своем месте, но что, помимо ее и из-за нее, вокруг него и над ним со всех сторон, во всех общественных и домашних делах и отношениях выросла неведомо какая пропасть тяжкого, кажется, даже вполне ненужного, но в то же время, кажется, и неизбежного. И вот, раздумывая о каком-либо теперешнем явлении будничной жизни, сорокалетний деревенский житель в конце концов не может не заключить своих размышлений почти всегда одной и той же фразой:

– Да что! Одно слово – дубье! Нам, дуракам, видно, и в гроб лечь дураками придется!

Но что значит, что, награждая себя такими нелестными эпитетами, деревенский житель, как бы припоминая что-то, не может миновать и другой фразы: «кабы ежели бы в *ту то пору* да послухать...» и говорит эту фразу (или думает – все равно) с некоторым оттенком сожаления в голосе.

А значит это, что в его сумбурно-тяжком сорокалетнем опыте жизни было нечто еще и *иное*; и хотя это «иное» было также сумбурно, ни с чем несообразно, не принесло в результате ровно ничего существенного, но, вспоминая его, это иное, нельзя не сознавать, что было в нем как бы какое-то *легкое дуновение сущей правды*.

Много за эти сорок лет видел мужик всякой всячины: и боялся-то, и переставал бояться, и принимался плясать «на радостях», и антихриста начинал ожидать со страху; слышал и то, и другое, и верил всему; а потом ничему не верил, или оказывалось совсем не так, как думалось, как верилось и должно бы быть. Но какая-то едва приметная струя правды, чего-то такого, про что нельзя не сказать: «верно!», была в том сумбуре, показывалась кое-где, через пятое в десятое.

Да!.. Как ни нелепо, как ни сумбурно предъявил в народной массе «сердечный» человек шестидесятых годов свое стремление «к народу» и «в народ», в каком бы ни с чем несообразном виде ни появлялся он в народной массе с своими сердечными излияниями, планами, советами, – все-та-

ки он «был» тут, был в деревне, бормотал «свое» наряду с тем, что бормотали, советовали, сулили, предсказывали все другие, и это бормотанье не могло пройти бесследно; оно оставило в воспоминаниях сорокалетнего деревенского жителя какой-то, хотя и слабый, едва ощущаемый звук, но звук правдивого *слова*, чего-то подлинного, справедливого.

– Кабы ежели бы «в те поры» послушали бы Михал Михалыча да укупили бы его землю-то обществом, так оно бы, пожалуй что, и не того...

Натворив на мирском сходе или в волостном суде пропасть всякой неправды и возвращаясь под хмельком домой, сорокалетний деревенский современник не может не раздумывать об этой неправде и всегда либо про себя, либо вслух непременно вспоминает что-нибудь из «той поры».

Но можно ли было «в ту-то пору» послушать этого Михал Михалыча? Михал Михалыч был барин – это первое; и потом «с чего» это он лез к мужикам целоваться, совал деньги в руки, обнимался? Откуда деньги-то у него? И кто добрый человек будет этак-то швырять? «Берите у меня землю! Отымайте ее у меня! Подлец я, да, я подлец!» Кто этак-то делает? Одной Марфутке передавал денег зря более, пожалуй, пятисот серебром, а что в ей скусу, в Марфутке-то? Больше ничего – солдатка. Связался при всем честном народе с этой шкурой, а свою законную жену зря покинул. Да и опять ведь сказывалц: и так, мол, отойдет. Так чего ж ее укупать-то? Ведь тож, укупи-кось... А ведь как набивался-то: «Купите,

православные, дайте мне вам послужить. Душа моя требует этого!» – Ишь вон Марфутка-то... что была? А ноне, поди-кось, как орудует по сенной части... Мужа, вишь, купила себе из благородных... Нет, кабы в ту-то пору, так... Да что уж!.. Дубье!. И цена-то нам всем, дуракам, медный грош... Как жили дураками, так, видно, и в землю дураками ляжем!.. Да и в самом деле, как тут узнаешь, что к тебе пришла правда, а не какая-нибудь хитрая штука, не подвох? Вот тоже еще «объявлялся» в наших местах человек и тоже, как подумаешь, не все, зря болтал. Ежели б нам тогда, по евонным словам, Пимке-кулаку не покориться, да на оборотку ему с заливными лугами сделать, так оно бы, пожалуй что, и попревосходней вышло... А болтал ведь, как кричал-от! А опять же как вспомнишь все подробно, так тоже нельзя было дать веры этому человеку: и неведомо откуда взялся, и неведомо кто. Ну, Михал Михалыч, положим что, барин; ну, взбрело ему в ум, вот он и стал мотать деньги... Ну, а этот с чего? Ни кола, ни двора, ни штанов, ни даже жилетки нет... Только цыгарки жжет да книжку читает, а между прочем, только и зудит: «Вам убыток в десять тысяч, тут убыток вам в тридцать тысяч»... Тыщи, да миллионы, да горы золотые сулил, а самому иной раз нечего перекусить... Что ему, бесштанному-то, тыщей чужих жалко стало? Ну положим, что... Ну, а слова-то какие говорил при всем честном народе? Ведь за эти слова-то, так ведь четвертовать его, идола, и то мало! Нешто может человек, который понимает

бога, да чтоб он посмел?.. А ведь он что!.. Ведь он даже... Ну как же Пимку-то не послушать было? Нешто Пимка-то не правду говорил: «Эй, ребята, глядите в оба! Он вам наделает делов! Сма-атрите!» Да чего мне Пимка? Я бы и сам его своими руками, жида этакова, скрутил да представил. Тут и слушать-то крещеному человеку таких слов невозможно, не токмо что... А что ежели бы в ту пору насчет Пимки бы... и действительно насчет лугов, так оно, пожалуй, и на другой бы манер обозначилось. Пимка-то вон и точно, по его, как он сказывал, оболванивает нашего брата. Ежели бы в ту-то пору захватить кузьминские-то покосы, так Пимка теперь бы... Да чего уж! Одно слово – дубье! Так дураками, видно, и в могилу ляжем.

Нескладно и даже как бы «неприлично» для «барина» проявилось в нем это стремление жить и действовать по сущей правде; в нескладных, ни на что непохожих и ни с чем несообразных формах проявилось оно среди народа, в деревне, в мужицкой избе; да и для народа, среди которого оно проявилось, оно казалось также ни с чем несообразным, нескладным, ни на что непохожим и уж во всяком случае «сомнительным» явлением; но во всей этой нескладнице, неожиданности форм проявления действительно таилась «сущая правда», настоящая, без всякой примеси и обмана, и миллионная доля ее, понятная и постижимая, припоминается теперь на каждом шагу, так как на каждом шагу – в общественных, мирских, домашних, семейных делах и от-

ношениях – чувствуется потребность в коренном обновлении крестьянского дела, крестьянского духа, ума; чувствуется потребность выразить стремление к правде, всегда неизменной, в ином виде, иной форме, ином размере.

И вот в такие-то минуты и припоминаются сорокалетнему современнику эти, неведомо откуда принесшиеся, дуновения сущей правды, «объявлявшейся *в ту пору*» и неведомо куда канувшей, и никакого иного, кроме смутного воспоминания, не оставившей следа.

К сожалению, это появление в народной среде каких-то едва-едва вспоминаемых очертаний «сущей правды», то есть каких-то таких поступков и каких-то таких слов и указаний, в которых как будто бы заключалось именно то, что надобно было крестьянину новой жизненной обстановки, то, чему следовало бы верить, – к сожалению, все это появлялось в народной среде в таких капельных размерах и с такой неподходящей внешностью, что оставило только действительно едва заметный след, частицу какого-то случайно хорошего звука, едва припоминаемое ощущение какого-то благотворного дуновения.

И хотя поэтому выражение: «кабы ежели бы *в ту пору*» и слышится в устах деревенского современника чуть не на каждом шагу, потому что на каждом шагу он ощущает и тьму, и страх, и безрассветную тяготу нескладицы, но это вовсе не значит, чтобы «в ту пору» он почерпнул так много необходимых ему идей, что с помощью их вполне понима-

ет все, что теперь творится с ним. Далеко нет: «в ту пору» было только что-то похожее на правду, частица, крохотная капелька, которая много-много что даст возможность задуматься над спутавшейся и сбитой в кучу современностью.

## 2

Вот и семидесятилетний старец, исконный деревенский житель, Афанасий Фирсанов, закручинившись о своей домашней беде, которая как снег на голову свалилась на его дом и семью, также не может почему-то не вспомнить прошлые времена.

– Кабы в те поры-то, – размышлял он, – послушали бы энту самую барышню-то, да взяли работницу, да Прасковью-то свезли в лазарет, так оно бы, пожалуй что, и совсем бы похорошему вышло.

Вспоминает Афанасий Фирсанов, как однажды «в ту пору», неведомо откуда, не то «на дачу», не то – так, неведомо зачем, налетела какая-то барышня-лекарка, в очках, стриженная... И как она шумела по избам, ругая мужиков и баб за больных детей, как она баб было всех взбунтовала против мужиков, говоря, что им, почитай, всем бабам, нельзя было работать в поле, что у одной одна болезнь, у другой – другая; что это злодейство – не лечиться, что будет хуже. Вспомнил он, что и Прасковье сказала она: «Нельзя, надо лечиться», и Прасковья уже подумывала было не идти на работу. Но вспомнил и то, что никогда этого ничего не бывало, что бабы всегда работали и будут работать, и проповедовать: «лечись» – значит бунтовать, становить вверх дном весь обиход крестьянской жизни. «А кто подати будет платить? А с кого

спросят? А есть-пить кто добудет? А скотина?». Все это такие возражения, что даже сами бабы скоро перестали слушать лекарку, которая, очевидно, говорила чорт знает что, бунтовала, да и по прочим речам ее видно было, что она больно сумнительная дама, потому – такие слова говорила, что каждый крещеный человек беспрерывно должен бы представить ее по начальству, а не то что «слушать» да покоряться ее бунтовству.

Но, выбирая из всех этих воспоминаний только едва вспоминаемый совет – лечить Прасковью, он хотя и чувствует, что этот совет был точно правилен, но очень хорошо знает, что, даже и вспомнив этот правильный совет, ему не понять всей беспросветной тьмы навалившегося на него горя.

То, о чем он думает, – такая тьма, что разобрать ее нет источников; в общих чертах горе Афанасия Фирсанова состоит в том, что неожиданно-негаданно прошлую осенью в дому его появилась порча. Женил он сына; и сын молодой, и жена его молодая; оба молодцы-силачи. Но на второй день свадьбы сделалась порча с молодой, а потом и с молодым, а затем и пошло «бить» оземь, ломать всю родню; даже соседних баб ни с того, ни с другого начало корчить, бросать и катать по полу, – словом, произошло неведомо что. Весь дом упал духом, опустил руки, стал приходить в упадок; грызущая тоска, никогда не знакомая прежде жителям этого дома, стала сосать их всех, и всех закручило глубокой тоской.

Вот что стряслось над домом и над всею семьею Афана-

сия Фирсанова; и не без основания мелькнуло ему воспоминание о словах барышни лечить Прасковью (тогда бы не надо было женить сына), но все-таки эти слова лекарки-барышни и сотовой доли не освещают и не разъясняют в этом сложном и необычайном происшествии. Чувствует и видит старик, что в этом горе, кроме явного участия чорта, явившегося нежданно-негаданно, сплелось все то, что запутало вообще теперешнего человека, с чем не может справиться стариковский опыт, к которому в помощь не выработано ничего нового, верного, прочного, и только вот когда-то мелькнула какая-то капелька, подходящая к тому, что нужно, мелькнула «в ту пору» и исчезла. Но, делая попытку рассказать эту темную историю и разобраться в ней, чтобы иметь понятие о том, до какой степени вообще запутаны головы наших деревенских современников, я чувствую уже, что едва ли мне удастся благополучно выбраться из этой сложной тьмы события, и пусть читатель извинит меня, если, не одолев всей сложности дела, я ограничусь, главным образом, выяснением только самых характерных особенностей упомянутых выше двух жизненных течений, столкнувшихся в этом деле.

### 3

Семья и дом Афанасия Фирсанова с давних времен считались в нашей «округе» самыми образцовыми и самыми счастливыми в отношении крестьянства и крестьянского дела; все, что следует по крестьянству, шло у них всегда ладно, складно, обильно, прочно и вообще солидно. Да и немудрено; посмотрите на мужиков: дед, который в настоящее время как-то расслаб и растерялся, несмотря на свои семьдесят с лишком лет, до неожиданного события был истинно молодец; не отличить было от сына, которому, всего-навсего лет сорок пять; здоровые оба, сильные, а главное, что особенно отличало эту семью от других, веселые – редкое явление в деревенской жизни. В поле на работе, на сходке у кабака, даже на учете мирского старосты, где уж непременно все злы и норовят разорвать друг дружку, Афанасий с сыном Иваном непременно хохочут, – не смеются, а хохочут, медленно, громко, раскрывая весь рот широко и держа голову прямо. Миряне вопиют, галдят, упрекают друг друга и ругаются самыми отборными словами, уличают друг друга и распинаются из-за каждой копейки, хотят разыскать сущую правду в каждом глотке мирской водки, а Афанасий с Иваном, засунув руки в карманы расстегнутого полушубка или армяка, только хохочут да изредка приговаривают:

– Пушай его... эх его!.. Хо-хо-хо!.. Чего не скажет!.. Ха-

ха-ха!

«Пушай!» Этим словом они подтверждают всякое мирское решение; не спорят, не прекословят, а только говорят одно:

– Пушай!.. По многу ль? По полтине, вишь... Ха-ха-ха. Ну пушай по полтине... Ишь что шуму-то... Ха-ха-ха!.. Ладно, что уж, по полтине... Доставай, Иван... Ха-ха-ха!

И на дворе со скотиной тоже у них веселое обращение, не слышно чего-нибудь вроде: «У, пропасти на тебя нет!.. К-ккуд-ды понесло тебя, проклятушую?», а, напротив, тот же поступок коровы или лошади обсуждается всегда с веселой точки зрения:

– Глянь, глянь, куда полезла!.. Аха-ха-ха!.. Ишь ведь, что мудрит... Хо-хо-хо!..

И даже в самых, повидимому, критических обстоятельствах, когда вся деревня ходит понуря голову, когда неурожай, даже холера – и тогда Фирсановы разговаривают не так, как все.

– Что, Афанасий Петрович, никак холера идет? Не умереть бы как-нибудь...

– Да ведь как же не умирать-то? Ха-ха-ха! Уж без этого нельзя, чтоб не помереть...

Или:

– А что, Иван Афанасьевич, сказывают, хлеба-то совсем не родилось?

– Даже и совсем ничего не родилось... ха-ха-ха!.. ей-бо-

гу!..

– Так как же быть-то?

– Да вот, поди-ка! без хлеба-то поживи! Ха-ха-ха! Изволь-ка вот, без хлеба-то оборудовать, умудрись! Хо-хо-хо!..

Да и в самом деле, убережешься ли от холеры, если она порешит отправить тебя на тот свет, если будешь причитать о ней и говорить жалкие слова? И хлеба не прибудет, ежели выть да стонать о бесхлебье. Если даже придется в долг у кулака хлеб занимать, так тоже нет никакого резона роптать или негодовать: скрежещи – не скрежещи, рыдай – не рыдай, а все отдашь замятое вдвое или втрое.

– Ты уж мне, Афоня или Ваня, – говорит кулачишка Афонасию Петровичу или Ивану Афанасьевичу, – ты уж мне, милага, в две препорции отдашь, в обработку-то! Это надыть помнить.

– Так пущай же и в две... ха-ха-ха! – отвечает Афоня или Ваня. – Коли в две надо, так и в две... ха-ха-ха... препорции надыть отдавать... ха-ха-ха... а не в одну препорцию... ха-ха-ха... Коли в две надо... хо» хо-хо!..

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.